

РАССКАЗЫ

ПТИЧИЙ ПОЦЕЛУЙ

Однажды Марк Ильич, немолодой уже водопроводчик, поехал на дачу. Дача заброшенная, глухая, располагалась на ***-м километре от Москвы по Курскому направлению. Летний поселок только начинал оживать после зимы, принимал первых постояльцев. Участок Марка Ильича располагался на самом краю и оставался нетронутым много лет. Хозяин покупал когда-то для жены и детей, которых в его жизни так и не случилось. Сам же охоты до нее не имел.

Марк Ильич был философски настроен и обладал флегматичным характером, поэтому не сильно переживал на этот счет. Изредка его посещали малодушные помыслы о несостоявшейся судьбе. Но Марк Ильич много лет не нарушал своего однообразного, ничем не примечательного порядка жизни. Что именно произошло теперь, никто не мог бы сказать утвердительно. Марку Ильичу нестерпимо захотелось быть ближе к природе. Пора бы воспользоваться пустующим доселе на ***-м километре участком и духовно оздоровиться — так подумал Марк Ильич и отправился.

Дача представляла из себя одноэтажный, с высоким чердаком домик на куске земли, заросшей сорняком. Самой большой ценностью здесь был дремучий вишневый сад. Годами неухоженный, сад стал обиталищем разнообразных птиц и был полон темной, влажной таинственности. Стоял май. Под деревьями кружевным ковром расстился вишневый цвет, недавно осыпавшийся. Было видно, что ветки деревьев уже налились соком и позеленели. Марк Ильич приехал к полудню, в обеих руках он нес садовый инструмент, за спиной — старый брезентовый рюкзак. Первым делом пришлось расчищать тропинки. Потом Марк Ильич расчистил полянку перед крыльцом, устроил костер из свежесломанного хвороста. Скромно поужинал, покурил, как спустились уютные сумерки, пришлось надевать свитер. Марк Ильич рассчитывал провести на природе дня два-три.

Погода стояла необычайно теплая для конца весны. Чтобы не пропитываться застарелой сыростью нежилого помещения, Марк Ильич решил ночевать в саду. Нашел в доме матрац, тщательно выбил от пыли и постелил под старой смолистой вишней. Туристический спальник был привезен с собой. Вместо подушки Марк Ильич положил рюкзак.

В окрашенной кремовым закатом полутьме застрекотали, набирая силу, сверчки. Из темного сада потянулись запахи сырости и еще чего-то приторного, едва различимого. Скошенные молодые травы благоухали вокруг головы. Запел одинокий

Татьяна Павловна Скрундзь, родилась в 1982 году в Липецке. В 2015 году окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик. Публиковалась в журналах «Урал», «Юность», «Сибирские огни», «Новая Юность», «Новая реальность», «Литература» и многих других. Живет в Санкт-Петербурге.

соловей. Марк Ильич почувствовал себя в княжеской ложе какого-нибудь знаменитого петербургского театра, в котором он ни разу не бывал, но о котором знал из американского кино про русскую Анну Каренину. Какое-то непостижимое открытие хлопотало у него в солнечном сплетении. Давно забытая детская радость предстоящей жизни посетила старого водопроводчика. Умиротворенный, он сладко заснул, укутавшись с головой в кокон спального мешка.

Под утро цикады вокруг утихли. Наступала смена птиц. С первыми лучами солнца подала голос первая трясогузка: «фьюти-фьюти-фьюти-фью». Через полчаса переключку подхватила сойка, за ней наперебой зачирикали истошные воробьи. Скоро в этой какофонии стало невозможно различить отдельные голоса. Зяблики, пеночки, скворцы и овсянки во множестве возносили хвалу Создателю. Сквозь приоткрытые веки Марк Ильич увидел, как какие-то из них перелетали поляну от дерева к дереву.

Он уже очнулся от сна, но не двигался, наслаждаясь утром. В полудреме чудилось, будто превратился он в садовое растение и на свежем ветру колышется волокнистое тело его новой сущности. Видимо, птицы тоже приняли Марка Ильича за часть пейзажа: вдруг одна из них, серая с красной грудью малютка, села на грудь Марка Ильича, точнее, на спальник на груди. Марк Ильич замер. Птица вспорхнула, но тут же приземлилась вновь, только ближе к лицу. Марк Ильич прикрыл глаза и затаил дыхание. С трудом удержался от желания чихнуть.

Легкая, как пух, пигалица негромко щебетнула, подскакала еще на пару шажков. Марк Ильич слегка приоткрыл рот и выпустил немножко слюны, задержав каплю в воронке губ. Всем, кто содержал когда-либо волнистых попугайчиков, знаком прием «целования» с птицей. У Марка Ильича в свое время были и попугаи, и канары, а однажды — толстый важный снегирь. Так что эту нехитрую манипуляцию он знал с детства. Тогда ему, советскому мальчишке, поцелуй, желательный повторенный многократно, казался наивернейшим способом приручить, добиться близости.

Он не ожидал, что птаха осмелеет так скоро. Но вот она вспорхнула, и секунду Марк Ильич чувствовал на губах слабые касания крепкого, тонкого клюва. Некоторое время лежал не шелохнувшись. Подлетела другая, а может быть, та же самая невеличка, и снова взяла немного слюны, затем еще и еще. Марк Ильич старался не улыбнуться. Его опутала ностальгия. Детские воспоминания носились вокруг. Было приятно, что птицы касаются крыльями его небритых морщинистых щек так доверительно, искренно, наивно. Это успокаивало нервы и волновало душу. В эту минуту Марк Ильич участвовал в небывалом единении с временем и природой. Была бы на то воля его, превратился бы сам в соловья или жаворонка, например, чтобы так же легко и весело щебетать беспечным и свободным, что дано только птицам и маленьким детям, но никак не замшелым водопроводчикам в большом светливом городе.

Окончательно проснулся Марк Ильич часа через два. Солнце поднялось уже высоко и медленно загоняло под куст тень, которая прикрывала голову. Марк Ильич поморгал, выпростался из мешка, почесал через свитер впалую грудь, погладил колючий подбородок и еще некоторое время с удовольствием лежал, вдыхая свежий, как горное озеро, ароматный воздух. Город с пыльной зеленью родного двора, с урбанистическими пейзажами за его пределами забылся, как сон. Благодушный покой вишневого сада теперь был его домом. И от чего это он раньше не приезжал сюда? Приобрел и забыл, считал — лишние хлопоты. Марк Ильич вздохнул, прислушался, стараясь отогнать вновь нахлынувшую тоску. Птицы по-прежнему пели, но разрозненной, жиже и больше не старались подлететь близко.

Очарование прозрачного, как вода в ручье, рассвета исчезло. День обещал быть теплым и солнечным. Марк Ильич захотел во что бы то ни стало не растерять вчерашний настрой. Он был полон трудовых планов и жаждал увериться во всех преимуществах загородной жизни. Он твердо решил остаться в поселке на все лето, а может быть, и на всю жизнь. В конце концов, идет уже шестой десяток, пора и честь знать, пора становиться ближе к природе. Выращивать редис и сочинять мемуары. Так подумал Марк Ильич.

Но тут он остро почувствовал чрезвычайно обыденную потребность организма. Сетуя, Марк Ильич поднялся, сделал несколько шагов в густоту сада. Здесь он остановился и гордо оправился, как будто совершал физиологическую мантру о благодатном поливе почвы. Едва Марк Ильич застегнул брюки, как глаза его остановились на холмике поодаль. Приглядевшись, он различил метрах в трех от себя лежащую собаку. Было неясно, мертва она или нет. Темно-коричневая шкура силуэтом выделялась на белых вишневых лепестках.

Сухо кашлянув, Марк Ильич, как вор, подкрался поближе.

Обычная дворняжка, крупная, оказалась трупом. По всей видимости, с ней это случилось недавно, не далее чем позавчера. Никаких ран на теле Марк Ильич не заметил, кроме того, что пустовала одна глазница. Труп лежал на боку с открытыми веками, и вид его был таков, что Марк Ильич попятился, а в мозгу само собой всплыло расписание электричек на Москву. Он не на шутку рассердился: как это некстати, мол, несообразно, бессовестно! Что именно бессовестно, он и сам не знал.

Словно отвечая, над ухом Марка Ильича свистнула раз-другой та самая пигалица — рассветная гостья. Откуда-то из зарослей ей ответила подруга. Марк Ильич замешкался, пытаясь углядеть движение в паутине ветвей. Была бы в руках рогатка, Марк Ильич, не задумываясь, выразил бы свою злость в одном выстреле! Но тут крохотный шустрый комочек выпорхнул на видное место и уверенно направился в кусты, где лежало песье тело. Марк Ильич определил ее как малиновку. Птица зависла над собачьим трупом, порхнула к голове.

— Ах, Боже ты мой! — по-бабски воскликнул Марк Ильич.

Малиновка клюнула собачий глаз раз и другой, отлетела в сторону. Появилась другая, точь-в-точь повторила ее действия. За ними прилетели сразу три, по очереди отпили из глазницы. Трапеца продолжалась не больше половины минуты, затем стайка вновь скрылась в саду, весело щебеча.

По-солдатски развернувшись на сто восемьдесят градусов, Марк Ильич поспешил к дому через громко хрустящие под ногами сучья. Там схватился за косяк. Тошнило.

В этот же день Марк Ильич покинул так и не очищенную от бурьяна дачу, чтобы больше никогда уже не вернуться ни сюда, ни к нелепым мечтам. В рейсовом автобусе со старческой неловкостью уселся у окна, склонил голову к прохладному стеклу. Когда водитель выворачивал на шоссе, из придорожного кустарника выпорхнуло крохотное тельце, промелькнуло в воздухе смазанным штрихом. Марк Ильич зажмурил глаза, стиснул зубы и губы и замер в судорожном напряжении.

На конечной, под назойливый — метро! конечная! — возглас из динамика, спешно вышел — последним. Пустой автобус рванул резво, будто мельничный ишак, с которого под вечер наконец сняли ярмо и отпустили в пастись свободно. Закат на мгновение опалил окна кровавым бликом. Марк Ильич успел заметить на стекле мутное пятно от прикосновения собственного горячего потного лба.

«А умрешь, — проскочила кривоватая мысль, — и мокрого пятна не останется».

Но тут его сильно толкнули в плечо.

— Эй, дед, аккуратней, — буркнул кто-то, хотя Марк Ильич не двигался.

Очнувшись, зашагал к станции. Человеческий поток подхватил, закрутил, скрыл и наконец ввергнул в хищно разъявленную черную пасть метрополитена. Несмотря на духоту, под землей невнятное беспокойство исчезло. Марк Ильич догадался: здесь нет птиц.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВАЛЕНТИНЫ

Валентина умерла зимой, во вторник днем.

До того она жила в больничном приюте тихо и неприметно. Ежедневный распорядок в приюте был прост: завтрак, обед, ужин, а между ними — долгая пустота, когда всем казалось, что время остановилось навсегда. Валентина в эти часы или лежала в кровати, или бродила по большой, на пятнадцать человек, палате. Она ни с кем не заговаривала, беззубо жевала губами и, только когда, шаркая тапочками, подслеповато врезалась в кого-то из вечно суетящихся пациентов, шепелявила тоном родной бабушки: «Лапочка, лапочка моя».

Валентина не помнила, как попала сюда. И никто, даже самые старожилы, не помнили. Больные приходили и уходили, а она оставалась на своем месте, как ветхая хоругвь в углу храма. Коренные жильцы называли хоругвь баб-Валей, новенькие или не задерживающиеся в больнице надолго — не иначе как Валентина Васильевна. Если Валентина не спала, большую часть времени смотрела в неопределенную даль, оставаясь неподвижной. Или, сложив за спиной маленькие морщинистые руки, подходила к окну и обращала свой взор в сад — на весну, лето, осень или зиму. Отделение находилось на первом этаже, низкие ветви яблонь почти касались стекол. На ветвях часто кучковались серые воробьи. Через плотно закрытые рамы чирканья их не было слышно, но что-то свежее будто проникало в духоту помещения, и отступал застарелый запах грязного белья и хлорки, которой ежедневно натирали полы, подоконники и спинки кроватей. Все это растворялось, как недодуманный образ, и только просторы сада и вот эти беспокойные, как пружинки, птицы оставались единственной реальностью.

У Валентины были внимательные глаза насыщенного черного цвета, хоть и полуслепые, но всегда яркие и блестящие. Наверное, она видела каким-то особенным взором, что называется «третий глаз», потому что если с ней заговаривали, старушка глядела как бы в глаза собеседнику и в то же время оставляла того в совершенной уверенности, что смотрит насквозь. Впечатление пронизательности дополнялось густыми, как кусты лавра, бровями — правое веко слегка нависало, от чего одна половиной лица казалась всегда на что-то сердитой, — но компенсировалось мягкими чертами и тихим голосом: «Лапочка ты моя».

Соседки подкармливали Валентину печеньем или конфетами. Бывало, кто-то выхватывал у нее только что полученное лакомство прямо из рук.

— Эй ты! Отдай назад, тебе говорят, — поднимался шум, если кто замечал воровство.

— Не отдам! — и не отдавала.

Если же и пыталась отдать, недовольная, все равно Валентина уже не брала, зато сдвигала обе брови в сплошную черно-седую линию и пронзительным взглядом провожала хамку. Но гнев тут же потухал, проследив спину обидчицы, Валентина возвращалась к созерцанию сущности вещей, открытых ей одной.

Впрочем, она почти никогда не съедала дареное, но в забывчивости скапливала по углам своей кровати. Печенья крошились, шоколад пачкал простыни. Санитарки отделения ругали Валентину, как безответное дитя, нелюбимое за лишние

хлопоты. Единственная Алла Ивановна называла Валентину просто Валей и разговаривала с ней как с обыкновенным, равным себе пожилым полноценным человеком — они были почти ровесницы. Аллу Ивановну Валентина чаще других называла «лапчочкой моей».

Всего санитарок было три. Им приходилось ухаживать за восьмьюдесятью женщинами разных возрастов. Одни пациентки жили здесь как сироты, другие состояли в той или иной степени старческого слабоумия и нуждались в постоянном медицинском и бытовом уходе. Валентина являлась одновременно тем и другим, и никто не ждал, что она когда-то выйдет из приюта.

Незадолго до своего последнего вторника Валентина, как обычно, прогуливалась от кровати к окну, когда неожиданно споткнулась о чьи-то тапочки и упала прямо лицом в пол, потому что руки держала за спиной. Алла Ивановна, дежурившая в ту минуту в палате, бросилась ее поднимать. С усилием расцепила руки, куклой довела и уложила на место. С тех пор Валентина не вставала и все реже произносила свое волшебное слово. Алла Ивановна и четыре ее сменщицы по очереди кормили старушку бульоном, в котором размачивали мякиши хлеба. Но было ясно, что Валентина начала умирать. Через неделю она полностью ослепла и глядела беспмятно. На случайный шум стала протягивать, словно чего-то спрашивала, зябкую руку, из которой само собой вываливалось теперь любое печенье.

Последние две недели Валентина почти не принимала пищи и не двигалась. Подымала утром и опускала днем веки, сделавшиеся такими хрупкими, что походили на папиросную бумагу, да нешироко разевала рот, когда кто-то из санитарок подносил столовую ложку с каким-нибудь жидким питанием. Вселилось мимо, на шею и серо-белый ворот больничной рубахи. Никаких эмоций на спокойном, с ввалившимися щеками лице не отображалось. Так рыбка, случайно выплеснутая вместе с водой, когда хозяйка чистит аквариум, перестает трепыхаться к первой минуте пребывания на воздухе и медленно засыпает, все слабее надувая пустые бока.

Вторничным утром, как и в другие утра недели, в отделении стоял невнятный гул голосов, пациентки бродили, шумели и ворочались в постелях. Перед каждой из них стояла какая-нибудь личная проблема: занять очередь в ванную комнату, отобрать сворованный соседкой зефир, перепрятать из наволочки в пододеяльник какую-то ценность вроде куска мыла, полученную давеча с передачей от родных. Бездыханность баб-Вали заметили не сразу, а когда заметили, по первому возбужденному восклицанию у ее постели собралось сразу несколько человек.

— Не может быть, чтобы умерла.

— Потрогай, может быть, пошевелится.

— Сама трогай, надо зеркальце поднести, я где-то читала, что так проверяют, жив ли человек, потому что на себя в зеркальце нельзя не посмотреть. А вот если не посмотрит, значит, мертвый.

— А где ты зеркало возьмешь?

— Машка, Оля, да не ты, бестолочь, Бояринова Оля! У кого-то из вас было зеркальце. Дайте!

— Тише ты, отнимут. Нет у меня ничего.

— Баб-Валь, а баб-Валь. Слышишь?

— Не слышит она уже ничего...

Кто-то сообразил позвать старшую медсестру. Та пришла быстро, в сопровождении еще дежурной сестры и трех санитарок. Старшая бесцеремонно отодвинула любопытных. Медперсонал выстроился чинно у кровати, во вмятине которой лежала крохотная Валентина. Напротив холодно голубела облезлая больничная стена. Алла Ивановна стояла вместе со всеми и ревностно наблюдала за старшей. Та

умелым движением одной руки взяла запястье старушки, сжала пульс длинными пальцами с лакированными, вызывающего цвета ногтями. Вторая рука оставалась в кармане халата. Стекла огромных очков, которые делали и без того некрасивую, плосколицую старшую похожей на кобру, глядели прямо перед собой в большое кривое пятно, оставленное отвалившейся со стены краской. Пятно напоминало формой средних размеров камбалу, глазками которой удачно вырисовывались две невесты откуда взявшиеся дырки на штукатурке.

— Еще жива, — сухо произнесла она и опустила безвольную кисть Валентины на простыню.

— Кончается наша Валюша, — горестно вздохнула Алла Ивановна.

Старшая склонилась над умирающей. Взгляд Валентины был неподвижен и устремлялся по вертикали к потолку. Глаза по-прежнему блестели здоровой чернотой. Если бы старшая пригляделась, наверняка могла бы проследить этот взгляд. Но Кобра отстранилась, выпрямилась и скрестила на груди руки, как палач, слушающий оглашение приговора судьи подсудимому.

Валентина, казалось, засыпает. Душа уходила из нее так незаметно, будто хотела, никого не потревожив, тихонько заняться другими, кроме поддержания дыхания и кровотока, важными делами. Палата замерла. Так группа снимающихся застывает в принятых позах перед фотографом, который скомандовал: «Внимание, сейчас...» Прошло минуты две. Валентино лицо медленно делалось неодошевленным. Кобра снова взялась за ее запястье, и было похоже, что считает: «Десять, девять, восемь, семь...»

Наконец заключила:

— Все.

Аккуратно положила мертвую руку на место, развернулась, быстрым шагом вышла из палаты. Сестра и санитарки незамедлительно зашуршали вслед изящным змеиным хвостом, унося на нем запах лекарств и скрипучих резиновых перчаток. Алла Ивановна замаялась, но все же поспешила за остальными.

Больные, толпившиеся все это время за спинами медработников, плотным полукольцом обступили кровать. Пораженные, они продолжали молчать, не отрывая глаз от покойницы и смутно ощущая нечто важное ускользнувшим прямо из-под носа.

Валентина тем временем продолжала глядеть в потолок. Радужная оболочка не тускнела, зато вечно нахмуренная бровь распрямилась, от чего ее лицо сделалось совершенно симметричным. Послышался судорожный всхлип.

— Эй, разойдись, паскудницы, чего вылупились!

В палату вихрем залетела Алла Ивановна, разогнала больных и подошла к трупу, но здесь ее решимость мгновенно исчезла.

— Глаза бы ей прикрыть надо, — произнесла, ни к кому не обращаясь. — Ай, мерзость. К мертвым нельзя прикасаться-то. Что делать?

Подумала, уткнув кулаки в толстые бока, затем натянула край одеяла и уголком пододеяльника хотела сомкнуть уже начавшие остывать веки. Но как только отняла руку, веки медленно поползли назад. Попробовала придержать их пару секунд — глаза, как живые, открывались все равно. В расширенных черных зрачках бликовали лампы дневного освещения. Дрогнув, Алла Ивановна бросила свое дело и ушла прочь.

Больные больше не подходили, косились издали. Через полчаса, получив указания врача, вернулись все три санитарки. Завернув тело в простыню, подняли с натугой каторжников, осиливающих перегруженный кирпичами поддон: две держали углы полотна в изголовье, Алла Ивановна — возле ног. Валентина ко

дню упокоения сделалась совсем махонькой, не больше десятилетнего ребенка. Странно было, что трое взрослых, упитанных женщин с таким трудом несли ее труп. Говорят, тела делаются тяжелее, когда лишаются жизненной энергии. Можно подумать, душа, уходя, забирает с собой свою легкость, ментальность, свою духовную силу, парадоксально позволяющую живому существу двигаться, поднимать ноги и голову вместо того, чтобы камнем прилипнуть к земле.

Мертвую бережно, как будто опасаясь, что она больно стукнется головой, положили на холодный чистый пол ванной комнаты. По желтоватой внутренней стенке ванны полз какой-то слизняк (неизбывная теплая сырость стояла в щелях и меж трубами). Алле Ивановне представилось, как слизняк ползет по застывшему Валиному лицу. Она размашисто перекрестилась, торопливо выскочила в коридор. Щелкнул замок двери.

К вечеру по вызову главврача приехала дочь Валентины — сухонькая вдовца средних лет, с синюшным личиком и черными, такими же, как у матери, глазами — спелая черешня после дождя, — сверкающими из-под соколиных бровей. Она прошла за врачом через все отделение, пробыла в кабинете несколько минут, потом так же, не глядя по сторонам, пошла обратно в пугающем одиночестве. Больные сразу узнали в ней родственницу баб-Вали, хотя видели здесь впервые: к старушке никогда никто не приезжал, не получала она и обычных здесь передач. Потому теперь многие из больных смотрели на гостью с упреком, зло шептались по углам и провожали ее горящим, ненавидящим взглядом, будто эта несчастная нанесла им личную обиду.

Вряд ли сама Валентина понимала, где и сколько времени находится, быть может, и дочь свою она не помнила и не тосковала, как чудилось многим. Но прокрадывалась в голову щиплющая мысль, что юродство Валентины являлось не столько частью болезни, сколько признаком ясного сознания, который таился в живом блеске умных, добрых глаз.

Появились какие-то мужчины, рабочие, их проводили в ванную, где они переложили тело на носилки. Выходя из отделения, пронесли ногами вперед по коридору мимо нескольких пациенток и Аллы Ивановны. Лицо усопшей было уже скрыто простыней, никто так и не узнал, закрылись ли наконец сопротивлявшиеся вечной слепоте глаза.

Когда открывали дверь, ледяная свежесть с улицы ворвалась внутрь, несколько снежинок метелью влетели внутрь и растаяли, не достигнув пола. А потом тяжелый металлический засов главного входа с грохотом задвинулся.

Алла Ивановна долго и брезгливо мыла руки в общем рукомойнике, шмыгала носом и бормотала что-то воздыхательное, после чего прошла в палату прибрать опустевшую кровать. Свернула грязные простыни, стала протирать клеенку мокрой тряпичей.

— Тут носочки остались, — внезапно бодро крикнула она, не отрываясь от работы. — Кому носки теплые?

Отделение будто вышло из оцепенения, заворчал.

— Мне теплые нужны! Я мерзну!

— А я вообще без носков!

— А я их первая увидела! Я не знала, что раздавать будут.

— Как ты могла увидеть первая, дура!

— Сама дура!

Алла Ивановна распрямилась, резво скрутила два шерстяных комочка в один и, слегка размахнувшись, бросила в другой конец палаты. Там кто-то издал громкий хрюкающий звук удовольствия.

КАРГАЗУН

На хлипкой деревянной веранде в кресле-качалке сидит старик. На нем поношенный зеленый халат, матерчатые тапочки, а в руках он держит старую пузатую трубку, из которой вьется струйка дыма с запахом ежевики. У старика морщинистое безбородое лицо с большим носом и лысая голова, от чего он похож на черепаху, особенно когда сжимает плечи, кутаясь плотнее в халат, потому что уже поздний вечер и становится прохладно. На темном небе мерцающая россыпь. Звезды яркие и большие, как всегда, когда нет луны.

Дом старика стоит на берегу. Справа его прикрывает от ветра гора Каргазун, названная так в честь турецкого принца, убитого, как гласит легенда, татарскими разбойниками во времена хана Артына. Гора невысокая, с отвесным склоном, уходящим в море. То ли ветра и волны, то ли какие другие силы выточили из склона профиль, издаലെка напоминающий лицо девушки или молодого мальчика — курносого, с губами, сложенными в гримасу.

Старик прожил у этой горы всю свою жизнь, рыбача в бухте, и никогда не уходил от этого места дальше, чем в ближайший поселок, куда наведывался для обмена рыбы на пищу и вино. Там, на рынке, он и услышал разговоры о призраке принца. Призрак якобы блуждает в окрестностях и пугает жителей тихим плачем или невнятным бормотанием по ночам. Окажись где-то в безлюдном месте, он тут как тут. Только припозднившийся путник непременно должен быть в одиночестве.

Но сейчас старик не думает о привидении. Он пьет вино и рассуждает о том, как хорошо будет рыбачить на лодке, которую он выменял давеча у пожилой вдовы. Супруг ее, тоже рыбак, погиб в шторме прошлой осенью, увлекшись и зайдя слишком далеко в море. Новенькая, еще даже не успевшая достаточно потемнеть от соли лодка теперь стоит, накрепко привязанная канатом к столбу, который старик накрепко вколотил в мокрую гальку.

Бутылка вина почти опустела. Звезд стало много больше. Они, словно вышитый бисером ковер, заплотонили пространство вплоть до горизонта. Старик причмокивает и смотрит вдаль. Вдруг часть звездного неба потускнела, и звезд не стало. Прямо перед стариком возникла тень, и тень была похожа на человеческую. Он не испугался, но удивленно крикнул, потому что фигура не двигалась, не пришла откуда-то, а точно материализовалась из воздуха. Ничто при этом не нарушило тишины. Слышен был отдаленный звук прибоя, да ветер шевелил редкую траву вокруг веранды. Старик хотел было встать с кресла, но тут же плюхнулся обратно, потому что фигура сделала шаг навстречу.

- Дай мне свою лодку, — произнес тонкий голосок.
- Ты... — старик запнулся. — Ты... Каргазун?
- Я не знаю, кто я, — печально ответил голос.
- Что ты здесь делаешь?

Фигура переместилась в сторону, но оставалась такой же темной. Можно разобрат, что это мальчик. Высокий, стройный, очень юный. Деталей одежды не различить, но видно, что за спиной красиво драпируется под порывами ветра плащ, а на ногах, показалось старику, бордовые сапожки.

- Что ты хочешь? — старик напрягал зрение, пытаясь увидеть лицо, но призрак сел на край веранды к нему спиной.
- Я хочу домой, — медленно произнес он.
- А где твой дом?

— Там, — призрак махнул рукой в направлении горизонта. — Там мой дом. Там я.

Он помолчал, а потом заговорил быстро, словно хотел успеть что-то объяснить, пока есть слова и возможность их произнести.

— Мои родители привезли меня на большом корабле. О, с тех пор прошло много времени. Так много, что я успел забыть, кто они и кто я сам. Помню, как мать пела мне колыбельные песни, а волны и ветер за бортом подвывали ей разными голосами. Помню яркое солнце и летучих рыб в искрах брызг. И как отец ходил по палубе, огромный, будто скала. Он был выше всех, и я любил прятаться в его тени. Потом мы вышли на берег. Я соскучился по земле, потому что плыли мы очень долго, и побежал наверх, в гору. Там росли чудесные цветы, а в зарослях неведомых деревьев щебетали птицы, каких я до того дня не встречал. Мать звала меня, но я не обращал внимания и скоро перестал ее слышать. Как много времени прошло там, наверху, не знаю. Настал вечер, когда я вспомнил, что надо вернуться.

Спускаясь, я надеялся увидеть уже разбитые шатры, но вместо этого... О! Отпечаток этой картины память моя сохранила свежее, чем я могу вынести без слез. Корабль наш полыхал. Последняя мачта с шипением обрушилась в воду на моих глазах. Близ берега на волнах колыхались несколько изуродованных тел, и кровь расплывалась по поверхности безобразными черными пятнами. По камням были разбросаны вещи и снасти. Товары, что мы везли в чужую страну, были похищены. Я видел следы от повозок, в которых, наверное, тащили груз куда-то в глубь суши.

Живых не осталось. Когда я спустился и бродил по берегу в поисках своих родителей, сапоги мои намочили от крови до голенищ. Я не боялся, что убийцы вернутся, но я испугался, когда не нашел ни мать, ни отца. Возможно, их увели с собой те, кто убил остальных. А может быть, они сбежали на корабль и погибли там в огне.

Призрак замолчал. Старик подождал немного, потом осторожно спросил:

— А что же ты?

— Я вернулся на гору. Время перестало течь. Осталось только море. Где-то за ним остался дом. Иногда я вдруг начинал верить, что родители вернулись домой, что они оставили своего сына, что они его не нашли и уплыли. Ведь мать звала меня. Но я не откликнулся и теперь остался совершенно один. Что-то ел, выковыривая из земли, спал под кустами. Но все больше тосковал. Видения дома, где мы жили, сад, где я играл малышом, преследовали меня. Тогда я помнил гораздо больше. Даже своих любимых собак! — он засмеялся, но как-то горько.

— И ты не знаешь, кто ты, мальчик? — спросил старик.

— Не знаю. Одно время думал, что птица. Долго-долго я учился разговаривать с птицами, что гнездились на тех скалах, — он показал на ту часть горы, где днем можно было увидеть его же профиль. — А потом научился летать.

— Как?! — воскликнул старик.

— В тот день мое сердце особенно терзалось. Печаль изъела глаза слезами, и я не мог смотреть на горизонт. Тучи собирались к дождю. Казалось, они говорят «никогда», «никогда» — такие они были хмурые. А птицы... птицы срывались со скалы и неслись прямо к ним. Так, как они нападают на врага, когда защищают свои гнезда. Как будто они протестовали против всего неизбежного, что несет это «никогда». Я стоял на обрыве и наблюдал за их смелым отчаянием. Как они расправляют крылья. Мне захотелось быть, как они. Я расправил руки, подался вперед, и вот... — призрак полуобернулся к старику и кивнул, словно подтверждая свои слова. — Я чувствовал, как ветер подхватил меня...

Он снова замолчал. Звездное небо тем временем начало светлеть. На горизонте обозначилась тонкая розовая полоса, пустое небо залилось лазерной акварелью.

Летние ночи слишком коротки, и вот одна из них подходит к концу. Старик не отрываясь смотрит на призрак принца. Его очертания посветлели, густая чернота уже не кажется такой вязкой. Но лица все равно не разглядеть. Словно туман обволакивает весь силуэт.

— Дай мне свою лодку, — повторил принц.

— Да зачем тебе лодка? — очнулся старик от своих мыслей. Он хотел добавить: «Ты же мертв! Ты давно умер, малыш!», но вовремя прикусил язык.

— Я хочу домой. Я хочу вернуться. Там — я.

День вступает в свои права жаркой, вальяжной походью. Пот течет со лба. Хочется вернуться поскорее под тень соломенной крыши и продремать сиесту до самого заката. Но старик наконец спускается вниз, к берегу. Лодки нет. Канат, привязанный одним концом к столбу, другим качается на беспечных волнах, задевая блестящую гальку на мелководье.

Старик стоит, уложив коричневую ладонь на блестящую лысину. Как он будет тащить сюда старую лодку, которую еще вчера выволок на берег вместе с соседом? Сегодня рыбалки не выйдет. Он вздыхает и глядит в море, туда, где темные воды смягчаются и волны как бы замедляют свой бег. Он вздыхает снова, разворачивается и начинает неуклюже карабкаться по вырубленным из земли ступеням наверх к своему дому.